

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

ИВАН ЕВДОКИМОВ — Деревня
С. МСТИСЛАВСКИЙ — Повесть о
Черном Магоме
Я. ШВЕДОВ — Юр-Базар
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

СТИХИ: В. Саянова, С. Шипачева,
Макара Пасынка, И. Сельвинского,
Д. Петровского и Н. Дементьева

Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Памяти великого
революционера и великого критика
(к столетию со дня рождения Н. Г. Чернышевского)

Е. И. ОБОЛЕНСКАЯ-ТОЛСТАЯ — Моя
мать и Лев Николаевич

ЖИЗНЬ НА ХОДУ:

В. СТАВСКИЙ — Марьянкины внуки
(по толстовским местам)

БИБЛИОГРАФИЯ

ВЕЛЛИН

КНИГА 9-10

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

КНИГА ДЕВЯТАЯ - ДЕСЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 1 9 2 8

МОСКОВСКИ И РАБОЧИ И
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Мосполиграфа.
Москва, Арбат, Филипповск., 13.
Тираж 2.300.
Мосгублит № 21.042.
З. Т. 1.683.

Т И Х И Й Д О Н

(Р о м а н)

*

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

XXIV

В КАРГИНСКУЮ приехали перед вечером. В станице уже не было фронтовиков — ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади, возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения смуглолицый офицер. Одет он был в казачьи шаровары с лампасами, вобратые в белые шерстяные чулки, длинную, просторную рубаху без погонов, подпоясанную кавказским ремешком. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые, с искрой, глаза глядели вывихнуто, исподлобно. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подхотившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые чугунно-крепкие валы мышц под рубашкой на груди и руках изобличали в нем присутствие недюжинной силы.

— Вы станичный атаман?

Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил:

— Да, я станичный атаман. С кем имею честь говорить?

Петро назвалсЯ. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову:

— Лиховидов Федор Дмитриевич.

Федор Лиховидов, казак хутора Гусыно-Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорви-голов, увел за собой в Персию. Со своим отрядом пробыл там год, составляя личную охрану шаха. В дни персидской революции, спасаясь с шахом, бежал, растерял отряд и так же внезапно появился в Каргине; привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских, с конюшни шаха, скакунов, привез богатую добычу: дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых

пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, по-лебединому носившем голову, в'езжал на нем по порошкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же неожиданно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник — вестовой, гусыновский казак, плясун Пантелюшка; исчезли и лошади и всё, что вывезено было из Персии.

Полгода спустя об'явился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дураццо, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со странными штемпелями. Потом переехал он в Италию, из'ездил Балканы, был в Румынии, в Западной Европе, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитриевича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно — что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в союзе русского народа на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал.

Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками: «Ну и ну!..» — «В гору лезет Федор Дмитриевич!» — «С какими людьми дело водит, а?» А на фотографии Федор Дмитриевич, с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба, под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается, широкопоясанный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи, лошади вот-вот готовы рвануть и нести, закусив удила. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу, держит губернаторшин локоток.

После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине, обосновался там — как будто бы надолго. Привез с собой жену — не то украинку, не то польку — ребенка; поселился на площади в небольшом, о четырех комнатах, домике, зиму прожил, выращивая какие-то неведомые планы. Всю зиму (а зима была крепка не по-донскому!) стояли у него настежь открытыми оди-нарные окна, — закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков.

Весною 1918 года, после дела под Сетраковым, его прокатили в атаманы. Вот тут-то и развернулись во всю ширь необ'ятные способности Федора Лиховидова. В столь жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами покачивали. Так вышколил он казаков, что на станичном сходе после речи его (говорил Лиховидов

ладно; не только силой, но и умом не обнесла его природа) ревут старики, как табун сплошь из бугаев: «В добрый час, ваше благородие! Покорнейше просим! Верна!»

Круто атаманил новый атаман; едва лишь прослыхали в Каргинской о бое под Сетраковым, как на другой же день туда полностью направились все фронтовики станицы. Иногородные (в поселении станицы составлявшие треть жителей) вначале не хотели-было итти, солдаты — ярые большевики — запротестовали, но Лиховидов настоял на сходе, старики подписали предложенное им постановление о выселении всех мужиков, не принимавших участия в защите Дона. И на другой же день десятки подвод, набитых солдатами, с гармошками и песнями, потянулись на Наполов, Чернецкую слободку. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемые Василием Стороженко, служившим в 1-м пулеметном полку, бежали к красногвардейцам.

Атаман еще по походе узнал в Петре офицера — выходца из нижних чинов. Он не пригласил его в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности:

— Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего. Без вас управились, — вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно да ждите приказа. Казаков хорошенько качните! Такой большой хутор — и дал сорок бойцов! Вы им, мерзавцам, накрутите холки! Ведь вопрос-то об их шкурах! Будьте здоровы, всего доброго!

Он пошел в дом, с неожиданной легкостью неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых чириков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами:

— Ну, как?

— Што там?

— Пойдем на Мигулин?

Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся.

— Домой. Обошлись без нас.

Казаки заулыбались, толпясь, пошли к привязанным у забора коням. Христоня даже вздохнул, будто гору с плеч скидая, хлопнул по плечу Томилина:

— Домой, стал-быть, пушкарь!

— То-то бабы теперь по нас наскучали.

— Зараз тронемся.

Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Рассадившись, уже в беспорядке, кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавливали коней, неслись во-всю. Местами скакали наметом; глухо роптала под копы-

тами зачерствшая от бездождья земля. Где-то за Доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния.

В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору забрежали собаки, и, чуя близкий дом, дрожаще, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны.

Мартин Шамиль, прощаясь с Петром, облегченно крякнул:

— Навоевались. То-то, добро!

Петро улыбнулся в темноту, поехал к своему базу.

Коня вышел убрать Пантелей Прокофьевич. Он расседлал его, завел в конюшню. В курень пошли вместе с Петром.

— Отставили поход?

— Ага.

— Ну, и слава богу. Хучь бы и век не слышать.

Жаркая со сна встала Дарья. Собрала мужу вечерять. Из горницы вышел полуодетый Григорий; почесывая черноволосую грудь, насмешливо пожмурился на брата.

— Победили, што ль?

— Останки борща, вот, побеждаю.

— Ну, это куда ни шло. Борщ-то мы одолеем, особенно ежли мне навалиться в подмогу.

До Пасхи о войне не было ни слуху, ни духу, а в страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у коршуновских ворот, гремя по порошкам шашкой, взбежал на крыльцо.

— Какие вести? — с порога встретил его Мирон Григорьевич.

— Мне атамана. Вы будете?

— Мы.

— Снаряжайте казаков зараз же. Через Наголинскую волость идет Подтелков с красновардией. Вот приказ, — и вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки.

Дед Гришака шел на разговор, запрягая нос в очки, с база прибежал Митька. Приказ от окружного атамана читали вместе. Нарочный, прислонясь к резным перилам, растирал рукавом по обветревшему лицу полосы пыли.

На первый день пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова уже не 40 человек, как в первый раз, а 108, в числе которых были и старики, обьятые желанием брухнуться с большевиками. Вместе с сыном ехал зяблоносый Матвей Кашулин. На никудышной кобыленке красовался в передних рядах Авдейч Брех,

всю дорогу потешавший казаков диковиннейшими своими небылицами; ехал старик Максаев и еще несколько седобородых... Молодые ехали поневоле, старые — по ретивой охоте.

Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко, под самым тучевым гребнем, плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стремем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.

Степь мокро зеленела. Местами лишь кулигами выделялся прошлогодний чернобыл, багровел жабрей, да на гряде бугра сизо отсвечивали сторожевые курганы.

Спускаясь с горы в Каргинскую, казаки повстречали подростка-казачонка, гнвшего на попас быков. Шел он, оскользаясь босыми ногами, помахивая кнутом. Увидев всадников, приостановился, внимательно рассматривая их и забрызганных грязью, с подвязанными хвостами лошадей.

— Ты чей? — спросил его Иван Томилин.

— Каргин, — бойко ответил парнишка, улыбаясь из-под накинутого на голову сюртука.

— Ушли ваши казаки?

— Пошли. Красногвардию пошли выбивать. А у вас не будет ли табачку на цыгарку? А, дяденька?

— Табачку тебе? — придержал коня Григорий.

Казачонок подошел к нему. Засученные шаровары его были мокры, лампасы ало лоснились. Он смело глядел в лицо Григорию, выручавшему из кармана кисет, говорил ломким тенористым голосом:

— Вот тут зараз, как зачнете опущаться — увидите битых. Вчерась пленных краснококов погнали в Вешки наши казаки и покляли их... Я, дяденька, стерег скотину вон возля песчанова кургана, видал оттель, как они их рубили. Ой, да и страшно же! Как зачали шашками махать, они как взревелись, как побегли... Посля ходил, глядел: все больше китайцы. У одново плечо обрубил, двошит часто, и видно, как сердце в середке под кровьями бьется, а печенки синие-синие... Страшно! — повторил он, дивясь про себя, что казаки не пугаются его рассказа; так, по крайней мере, заключил он, оглядывая бесстрастные и холодные лица Григория, Христови и Томилина.

Закурив, он погладил мокрую шею григорьева коня, сказал «спасибочко» и побежал к быкам.

Около дороги, в неглубоком, промьтом вешней водой, яру чуть присыпанные суглинком лежали трупы изрубленных красногвардейцев.

Виднелось смугло-синее, как из олова, лицо с запекшейся на губах кровью, чернела босая нога в синей ватной штанине.

— Тошно им прибрать... Сволочи! — глухо зашептал Христоня, и вдруг, секанув плетью своего коня, обгоняя Григория, поскакал под гору.

— Ну, завиднелась и на донской земле кроввица, — подергивая щекой, улыбнулся Томилин. — Ты чуешь, Григорий, как кровь во няет? Чуешь ай нет?

XXV

Утро развернулось диковинное. В девять часов еще ощутимо чувствовалась жара, а к полдню с юга ударил ветер, по небу текучей перебежкой пошли облака, и на окраинах города пьяно запахло молодью оклеенных соком тополевых листьев и прижаренными на солнцегреве кирпичом и землей.

Вчера Бунчук и Анна со сборным отрядом Донского совнаркома разоружали у вокзала взбунтовавшийся анархический отряд; только вчера боронили постаревшее лицо Бунчука морщины, а нынче ветром с юга утнало тревоги, — и Бунчук совсем по-хозяйски возился у крыльца с керосинкой, недружелюбно, с холодком посматривая на лицо Анны, теплившееся обидной улыбкой.

Перед завтраком проболтался Бунчук о том, что в свое время очень неплохо готовил он котлеты с галицийским соусом.

— Ты это серьезно? — усомнилась Анна.

— Вполне.

— А где ты научился?

— Ну, знаешь ли... Мало ли где? Во время войны полька одна меня выучила.

— Возьмись, фриготовь. Я что-то сомневаюсь.

И вот — керосинка. Озабоченный лоб Бунчука, улыбка на губах Анны, и столько в ней затаенного лукавства, что Бунчуку невтерпеж. Он зверски трясет прижженную на сковороде картошку, хмурится:

— Конечно, если стоять над душой и издеваться, то ничего не получится. И при этом разве это керосинка? Доменная печь, если хочешь знать!

Анна говорит протяжно и почти мечтательно:

— Почему ты не повар? Какие бы ты блюда готовил... С какой властью ты распоряжался бы на кухне, где так крепко, как спирт, пахнет луком и лавровым листом... Право, почему ты пренебрег областью кулинарии? Ведь столько таинственного, еще неизученного...

— Послушай, это уже слишком!

Ленткой волос играет Анна, накручивая ее на палец, из-под низу глядя на Бунчука, хохочет:

— Сегодня же заявлю ребятам, что ты самозванный пулеметчик, что ты бывший повар при кухне какого-нибудь величества.

Искренне был огорчен Бунчук, когда вместо галицийского соуса оказалось что-то дурно пахнущее, мерзкое на вкус. Анна самоотверженно ела и даже находила слова скупой похвалы.

— Ничего... Приятный соус... Горчит только...

— Правда, ничего? — воодушевлялся Бунчук, веселея. — Ну, а если б подбавить сюда тертого хрена, тогда действительно... — и пощмокал языком, не замечая мужественно сжатых губ Анны.

К концу завтрака Анна как-то потускнела, вяло жевала, и, задумавшись, подолгу не отвечала на случайные вопросы Бунчука. После стояла у палисадника, до ног залитая солнцем, рассеянно и слабо теребя стиснутую зубами соломинку...

Бунчук прижал ее голову к своему плечу, вдыхая тревожный, милый запах растрепанных волос, спросил:

— Почему ты такая? Что с тобой?

Она долго смотрела на него, редко опуская ресницы, потом, расстегнула на воротнике его рубашки пуговицу, застегнула ее, опять расстегнула.

— Пойдешь в город? — ответа не дождалась и сквозь горько сжатые губы: — Я скоро выйду из строя, Илья...

— Почему?

Пожала плечами. Проследила за зыбким бегом солнечных пятен, рассыпанных под тополем. Грудью ложась на низкий частокбл палисадника, сказала с неожиданным озлоблением:

— Я ждала. Не верила. Теперь ясно — через семь, через семь с половиной месяцев буду матерью.

Ветер с моря, терпкий ветер баламутил на тополе листья, пошвыривал волосы Анны с головы на лицо. Она не убирала их. Угасшие зрачки ее ширились, чернели. Затаенно молчал Бунчук. Молча погладил ее руку, но она, словно храня в душе какую-то неведомую обиду на него, не ответила на ласку, прибитой походкой ушла в дом.

Бунчук, входя в свою комнату, притворил дверь, спросил, не в силах побороть нетерпичку:

— Что же теперь?

— А ничего, — безучастно отозвалась она.

Молчание было мучительно. Бунчук искал слов, чувствовал нелепую сумятицу мыслей.

— Роди. К тому времени кончим контр-революцию. Что же, разве уж так плохо иметь детей? — инстинктивно почувствовал выход и,

чуть смущенно улыбаясь, зашепшил: — Непременно роди! Роди, Анна, парня, такого чертенного здоровюку, косолоплого, толстого. Я буду мирным слесарем, и ты знаешь — отличная будет жизнь! Годика через три ты обрастешь жирком, и я растолстею, купим домик в собственность... А в домике обязательно будет на окнах герань и канарейка-шельма в клетке. По праздникам будем гостей созывать, и сами будем ходить к таким же почтенным обывателям. Ты будешь печь воскресные пироги, плакать будешь, если тесто не удастся. Сбережения будут..

Анна, вначале неохотно и невесело улыбаясь, под конец фыркнула:

— Ну, и идеалец!

— Не нравится?

— Недурно.

— То-то и ба, что пустая торба!

В город пошли вместе. Ростов, неусузнаваемо демократизировавшийся, бупрился толпами солдат, рабочих, бедно одетого служилого люда. Медянкой зеленели рубахи, глянцем отсвечивали кожаные куртки, чернели спортуки и редкой расшивкой по бесцветно-бурому фону белели платья женщин. В общем массиве нищального мещанства и рабочих, пожалуй, была и неприметна какая-либо чиновница в потрепанном демисезоне, испуганно спешившая по своим домашним надобностям.

На заборах вскудлаченные ветром трепыхались шмотья воззваний и приказов. Неметенные улицы пахли испревающим конским калом и нагретым камнем.

Перемена во внешнем обличьи города сегодня почему-то бросилась в глаза Анне.

— Смотри, Илья, как попростел город. Котелка не увидишь, тройки тоже. Все — под цвет камня.

— Город — как хамелеон. Если придут белые, знаешь, как он перекрасится? — улыбаясь чему-то своему, проговорил Бунчук, и с этой затуманенной улыбкой глядя на переходившего дорогу гимназиста в распахнутой шинели с обрезанными светлыми пуговицами и с темным следом на околыше фуражки, где некогда красовался герб классической гимназии.

На углу Садовой и Таганротского плясал в кругу зевак старый, сморщенный, как лимонная корка, китаец. На шафранном лице его зернился пот. Матрос глядел ему на ноги соловыми, полупьяными глазами, сплюнявился подсолнухами, скрипел яркими калошами.

Бунчук и Анна промолчали до бывшего парамоновского дома. Молча и как-то нехорошо расстались...

Под вечер, когда Подтелков, прервав заседание Донского исполкома, наскоро сколотил отряд и повел его в контрнаступление против

подступавших к порогу новочеркасских казаков, они встретились и пошли в одной колонне.

— Вернись! — невнятно попросил Бунчук, касаясь рукой руки Анны.

Но она упрямо сжала губы.

— Аня, вернись!

Короткий разговор этот, происходивший на окраине, прервала выскочившая из ворот одного флигеля пожилая женщина. Она метала в проходившие ряды красновардейцев мягкие куски свежей пышки и, размахивая свободной левой рукой, ожесточенно кричала:

— Хорошень им проклятым! Чернецов—этот выблядок панский — убил моего мужа! Казаки вон сколько шахтерских семей осиротили... Хорошень им задайте!.. Отквитайте им за наши слезы!

Гололобый выбритый солдат, на ходу поймав пышку, выругался.

— Чево орешь, петля кобылья? Заткнись, а то в хороший час соседи казакам выдадут.

— Разве это не символ нашей связанности с рабочим классом? — улыбнулась Анна, уловив на себе взгляд Бунчука.

— Рассыпись! — ревнол кто-то из головы колонны.

Кончались последние дворы предместья. Начался бой. Конные и пешие казачьи группы наступали вяло, ощущая острую нехватку огнеприпасов.

Зато Подтелков, крупно шагая над цепью, басил ободряюще:

— Зелья, братки, не жалей! На всю конгтру хватит!

И припасы не жалели: били залпами, сочно репалась тишина, эхо-квохтало где-то за задымленной трубой кирпичного завода.

Бунчук смазывал с губ щелочно-горький пот.

— Тут установим? — спросил его номерной.

— Тут.

— Ленгу?

— Давай!

Бунчук наспех вырыл саперной лопаткой углубление, приладил пулемет. Номерной вложил ленту.

XXVI

Номерным у Бунчука был казак с хутора Татарского Максимка Грязнов. Коня потерял он в бою с кутеповским отрядом, с той поры безудержно запил, пристроился к картежной игре. Из боя, когда убили под ним коня, — того самого, который бычиной был масти, с серебряным ремнем вдоль спины, — вынес Максимка седло, пер его четыре версты и, видя, что живым не уйти от яро заседавших добровольцев,

содрал богатый напрудник, взял уздечку и самовольно ушел из боя. Объявился он уже в Ростове, в скорости проиграл в «очко» серебряную шашку, взятую «напрокат» у зарубленного им есаула, проиграл оставшуюся на руках конскую справку, шаровары, шевровые сапоги и нагишом пришел в команду к Бунчуку. Тот его приодел, примолвил. Может, и исправился бы Максимка, да в этом бою колупнула его пуля в голову, вытек на рубаху голубой максимкин глаз, забила ключом кровь из развернутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто и не было на белом свете вешенского казака Грязнова — конокрада в прошлом и горького пьянопи в недавнем вчера.

Поглядел Бунчук, как корежила агония максимкино тело, и заботливо вытер с пулеметного ствола кровь, брызнувшую из дырявой максимкиной головы.

Сейчас же пришлось отступать. Поташил Бунчук пулемет. Остался Максимка холодеть на жаркой земле, выставив на солнце смуглоспинное тело с задратой на голову рубахой (Умирая, все тянул на голову рубаху, мучился).

Взвод красногвардейцев сплошь из солдат, возвращавшихся с турецкого фронта, укрепился на первом же перекрестке. Гололобый солдат, в полуистлевшей зимней папахе, помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улочки нечто вроде баррикады.

— Приходи видаться! — улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта.

— Теперь мы им сыпанем!

— Ломай, Самара! — кричали одному дубжему парню, отдиравшему доски от забора.

— Вон они! Метутся сюда! — крикнул гололобый, взобравшись на крышу водочного склада.

Анна прилегла с Бунчуком. Красногвардейцы густо залегли за временным укреплением.

В это время справа, по соседнему переулку, град шагов: «ток-ток-туп-туп!»! Человек девять красногвардейцев, как куропатки по меже, промчались за стену углового дома. Один успел крикнуть:

— Скачут! Тикайте!

На перекрестке миг стало пустынно и тихо, а минуту спустя — вихрь пыли, и следом, озираясь, вывернулся верховой казак с белой перевязью на фуражке, с прижатым к боку карабином. Он с такой силой крутнул коня, что тот присел на задние ноги. Бунчук успел выстрелить из нагана. Казак, прилипая к конской шее, умчался назад. Солдаты, бывшие около пулемета, топтались в нерешимости, двое перебежали и залегли у ворот.

Было видно, что сейчас дропнут и побегут. Напряженное до предела молчание, растерянные взгляды не сулили устойчивости... А из последующего осязаемо и неизбежно ярко запомнился Бунчуку один момент: Анна в сбитой на затылок повязке, растрепанная и неузнаваемая от волнения, обескровившего ее лицо, вскочила и—винтовку наперевес, — оглядываясь, указывая рукой на дом, за которым скрылся казак, таким же неузнаваемым ломким голосом крикнула: «За мной!»— и побежали неверной, спотыкающейся рысью.

Бунчук привстал. Рот его исковеркал невнятный крик. Выхватил винтовку у ближнего солдата, чувствуя в ногах страшную дрожь, побежал за Анной, задыхаясь, чернея от великого и бессильного напряжения кричать, звать, вернуть. Сзади слышал дых нескольких человек, топтавших следом, и всем своим существом чувствовал что-то страшное, непоправимое, какую-то чудовищную развязку этого красивого, но бесполезного жеста. В этот миг он уже понял, что поступок ее не в силах увлечь остальных, бессмыслен, безрассуден, обречен.

У угла (он был уже около Анны) в упор напоролся на подскакавших казаков. Разрозненный с их стороны залп. Посвист пуль. Жалкий заячий вскрик Анны. И она, оседающая на землю, с вытянутой рукой и безумными глазами. Он не видел, как казаки повернули обратно, не видел, как солдаты из тех восемнадцати, что были около его пулемета, гнали их, зажженные поздним энтузиазмом аннинного порыва. Она, одна она была в его глазах, билась под его ногами. Не чуя рук, повернул ее на бок, чтобы взять и куда-то нести, увидел кровавый подтек в левом боку и ключья синей кофточки, хлопко болтавшиеся вокруг рваной раны, — понял, что рана от разрывной пули, понял — смерть Анне, и смерть увидел в ее обволоченных мутью глазах.

Да с какою же жадностью целовал он эти глаза и почти мужские по форме руки, будил любимейшую, грубо тормозил, пытался вернуть к жизни!.. Кто-то оттолкнул его. Анну пронесли в ближайший двор, положили в холодке под навесом сарая.

Гололобый солдат, дергая щеками, совал в рану хлопья ваты, отшвыривал их прочь, набухавшие и черневшие от крови. Овладев собой, Бунчук расстегнул на Анне ворот кофточки, порвал на себе исподнюю рубашку и, прижимая комья полотна к ране, видел, как пузырилась кровь, пропуская в отверстие воздух; видел, как синё белело лицо Анны и черный рот ее дрожал в муках. Губы хватали воздух, а легкие задыхались: воздух шел через рот и рану. Бунчук разрезал на ней рубашку, бесстыдно оголил покрытое смертной испариной тело. Рану кое-как заткнули тампоном. Через несколько минут к Анне вернулось сознание. Провалившиеся глаза глянули из черных подтечных кругов на Илью, прикрылись дрожащими ресницами.

— Воды! Жарко! — крикнула она и заметалась, заплакала. — Жить! Илья-а-а!.. Милый!.. А-а-а-а!..

Распухшими губами Бунчук припадал к ее пылающим щекам, лил из кружки воду на грудь. Вода до краев заполняла впадины ключиц, пересыхала моментально. Смертный жар изжигал Анну. Сколько ни лил Бунчук на грудь ее воду, — металась Анна, рвалась из рук.

— Жарко!.. Огонь!..

Обессилев, понемногу холодея, сказала внятно:

— Илья, зачем же? Ну, вот видишь, как все просто... Чудак ты!.. Страшно просто... Илья... Милый, ты маме как-нибудь... Ты знаешь... — Она полуоткрыла суженные, как во время смеха, глаза, и, пытаясь ослабить боль и ужас, заговорила невнятно, будто давясь чем-то: — Сначала ощущение... Толчок и ожог... Сейчас горит все... Чувствую — умру... — и сморщилась, увидев горький отрицающий взмах его руки: — Оставь! Кровь льется внутри... Плевра набухла кровью... Тяжко... Ах, как тяжело дышать!..

В перерывы говорила часто и много, словно стараясь высказать все тяготившее ее. С безграничным ужасом заметил Бунчук, что лицо ее светлеет, становится прозрачней, желтей у висков. Перевел взгляд на руки, безжизненно кинутые вдоль тела, увидел: ногти, как зреющий чернослив, наливаются розовой синевой.

— Воды... На грудь... Жарко!

Бунчук кинулся в дом за водой. На обратном пути уже не слышал хрипов Анны. Низкое солнце светило на ее сведенный последней судорогой рот, на прижатую к ране воскового слепка еще теплую ладонь. Медленно сжимая ее плечи, он приподнял ее, минуту смотрел на заострившийся нос с потемневшими крохотными веснушками у переносья, ловил под разлатыми черными бровями стынущий блеск зрачков. Беспомощно запрокинутая голова свисала все ниже, на тонкой девичьей шее, в синей жилке, отсчитывал последние удары пульса.

Бунчук холодно прижался губами к черному полусмеженному веку, позвал:

— Друг! Аня! — выпрямился и, круто повернувшись, пошел неестественно прямо, не шевеля прижатыми к бедрам руками.

Он, как слепой, тудью ударился в ворота, глухо вскрикнул и гонимый призрачным зовом пополз на четвереньках, все убыстряя движения, почти касаясь лицом земли. С запененных губ его срывались невнятные слова. Он полз над плетнем, как недобитый зверь, натужно, но быстро, за ним выжидающе наблюдали из-под сарая трое оставшихся во дворе красногвардейцев. Они молча переглядывались, пораженные столь отвратительным, оголенным проявлением людского горя.

XXVII

Эти дни Бунчук жил, как в тифозном бреду. Он ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми припухлыми глазами он непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир, знакомых не угадывал, выглядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались: ничего не хотелось, ни о чем не думалось.

— Ешь, Бунчук! — предлагали товарищи, и он ел, тяжело и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку.

За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь.

— Ты болен? — спросил его на другой день один из пулеметчиков.

— Нет.

— А чево ж ты? Тоскуешь?

— Нет.

— Ну, давай, закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху.

Приходило время спать, — ему говорили:

— Ложись спать. Пора.

Ложился.

В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он четыре дня. На пятый повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав.

— Ага, вот и ты, а я тебя ищу. — Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся. — Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция в северные округа? Как же, комиссия пяти выбрана. Федор ведет. Только на северных казаков и надежда. Иначе заремизят. Плохо! Ты поедешь? Нам агитаторы нужны. Поедешь, что ли?

— Да, — коротко ответил Бунчук.

— Ну, и хорошо. Завтра выступаем. Зайди к деду Орлову, он у нас звездочетом.

В прежнем состоянии полнейшей духовной прострации Бунчук приготовился к выступлению, и на следующий день, 1 мая, выехал вместе с экспедицией.

К тому времени обстоятельства для Донского советского правительства складывались явно угрожающим порядком. С Украины надвигались немецкие оккупационные войска, низовые станицы и округа были сплошь захлеснуты контр-революционным мятежом.

В зимовниках бродил Попов, грозя оттуда Новочеркасску. Начавшийся в конце апреля в Ростове областной съезд советов неоднократно

прерывался, так как восставшие черкасцы подходили к Ростову и занимали предместья. Лишь на севере, в Хоперском и Усть-Медведицком округах, теплились очаги революции, и к их-то теплу невольно и тянулись Подтелков и остальные, разуверившиеся в поддержке низовского казачества. Мобилизация сорвалась, и Подтелков, недавно избранный председателем Донского совнаркома, по инициативе Лагутина решил отправиться на север, чтобы мобилизовать там три-четыре полка фронтовиков и кинуть их на немцев и низовскую контр-революцию.

Создали чрезвычайную мобилизационную комиссию пяти во главе с Подтелковым. 20 апреля из казначейства взяли десять миллионов рублей золотом и николаевскими для нужд мобилизации, наспех сгребли отряд для охраны денежного ящика, преимущественно из казаков бывшей каменской местной команды, забрали несколько человек казаков-агитаторов, и 1 мая, уже под обстрелом немецких аэропланов, экспедиция тронулась по направлению на Каменскую.

Пути были забиты эшелонами отступающих с Украины красновардейцев. Казаки-повстанцы рвали мосты, устраивали крушения. Ежедневно над линией Новочеркасск — Каменская по утрам появлялись немецкие аэропланы, кружились коршунычьей семьей, снижались, коротко стрекотали пулеметы, из эшелонов высыпали красновардейцы, билась чечотка выстрелов, над станциями запах шлама мешался с прогорклым запахом войны, уничтожения. Аэропланы взмывали в немислимую высоту, а стрелки еще долго опорожняли патронные цинки, и сапоги ходивших над составами по щиколку тонули в порожних гильзах. Ими покрыт был песок, как баерак дубовой золотой листвою в ноябре.

Безмерное разрушение сказывалось на всем: над откосами углились сожженные и разломанные вагоны, на телеграфных столбах сахарно белели стаканы, перевитые оборванными проводами. Многие дома были разрушены, щиты над линией сметены будто ураганом...

Экспедиция пять дней побивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон.

— Так ехать нету могуты! Давайте кинем все наши пожитки и пойдем походным порядком.

— Ты што! — воскликнул изумленный Лагутин. — Пока дотили-паешь походным порядком до Усть-Медведицы, — белые через нас пройдут.

— Далековато, — замялся и Мрыхин.

Кривошльков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами. Его трепала лихорадка, от хины звенело в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел спорбясь на мешке с сахаром, и гла-

зами, затянутыми мутной пленкой, зло глядел на Зинку-«шмару» Подтелкова, белесую полнопродую девку, которую вез тот с собой под видом милосердной сестры. Зинка дарила тщедушного Кривошлыкова такой же антипатией; развалив толстые ноги, привалясь к цибику чая, она курила, мяла папиросу мелкими зверушечными зубами и вызываяще, нагло улыбалась. Они почувствовали друг к другу острую неприязнь со дня первой же встречи. Кривошлыков ждал момента, чтобы обрушиться на Подтелкова и выкинуть из вагона эту мразь.

— Кривошлыков, у тебя язык, што ли, отнялся? — сухо спросил Подтелков, не поднимая от карты глаз:

— Что тебе?

— Не слышишь, о чем гутарим? Походом итить надо, иначе пергонют нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас ученый, говори.

— Походом бы можно, — с расстановочкой заговорил Кривошлыков, но вдруг лякнул совсем по-волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки. — Можно бы, если б меньше багажу. Баб одних на воз не покладешь. К чорту! Я вот вопрос подниму, чтобы ловыкинуть их вон!

— Оставь, Михаил, — смущенно попросил Подтелков.

— Ничего «не оставь!» — звеня зубами выговаривал Кривошлыков, под тихую поощряющую улыбку Лагутина. — Нечего блядей катать в такой момент!

Зинка вскочила. Будто дымком пыхнули синие ее глаза.

— Не на твои еду, подхвостная дрожалка! Не трясись!

— А ну, замолчи!

— Чести много тебе, сопляк! Офицеришка несчастный!

— Отставить! — резко, как в строю, крикнул Подтелков, и кулаком Зинке: — Замолчи, ты! А то за волосы да на ветер!

Зинка, негодуяюще дрожа ноздрями, смолкла. Подтелков запальчиво на Лагутина:

— А ты зубами не торгуй, как девка! Чево скалишься? Ты мне толком говори, почему походом нельзя иттить?

Около дверей развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетавшим с пасмурного запада, трепыхалась, с шорохом рвалась из рук.

— Вот как пойдем, вот гляди. — Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте. — Видишь масштаб? Полтора верст, двести от силы. Ну?

— А ить верно, чума ее дери! — согласился Лагутин.

— Ты, Михаил, как?

Кривошлыков досадливо пожал плечами.

— Я не возражаю.

— Зараз пойду казакам скажу, штоб выгружались. Нечего время терять.

Мрыхин выжидающе оглядел всех и, не встретив возражений, выпрыгнул из вагона.

Эшелон, с которым ехала подтелковская экспедиция, в это хмурое, дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы. Бунчук лежал в своем вагоне, с головой укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом.

Ванька Болдырев — мигулинский казак, балагур и насмешник, посмеивался над товарищем пулеметчиком.

— Ты, Игнат, какой губернии? — хрипел его сильный, прожженный табаком голос.

— Тамбовской, — мякеньким баском отзывался смиренный Игнат.

— И, небось, моршанский?

— Нет, шацкий.

— А-а-а... шатские — ребята хватские: в драке семеро на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне к престолу телушку огурцом зарезали?

— Будя, будя тебе!

— Ах, да, я забыл, этот случай не у вас произошел. У вас, никак, церковь блинами конопатили, а посла на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело?

Чайник вскипел, это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели вокруг за завтрак, Ванька начал снова:

— Игнат, штой-то ты свинину плохо ешь? Не любишь?

— Нет, ничего.

— На вот тебе свиную гузку. Скусная.

Лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились. Загрохали сапогами, а через минуту запыхавшийся и сердитый голос Игната:

— Жри сам, чорт! Что ты лезешь со своей гузкой?

— Она не моя — свиная.

— Один чорт — поганая!

Равнодушный, с сипотцей, болдыревский голос тянет:

— Пога-на-я? Да ты в уме? Ее на пасху святили. Скажи уж, што боишься оскоромиться...

Станичник Болдырев, красивый светлорусый казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, урезонивает:

— Брось, Иван! Наживешь с мужиком беды. Сожрет гузку и прищипит ему креха. А где его тут раздостанешь?

Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз огромным блещущим рублем кружилась перед ним степь, покрывая снегом, с бурными хребтами дальних лесов на горизонте; он как бы ощущал холодный ветер, стоя на площадке вагона, и рядом с собой видел Анну, черные глаза ее, мужественные и нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчивую складку на лбу... Он не слышал слов, срывававшихся с ее губ: они были невняты, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц догадывался, о чем она говорит... И вот иная Анна: иссиня-желтая, с полосами застывших слез на щеках, с заострившимся носом и жутко-мучительной складкой губ.

Он нагибается, целует черные провалы стынувших глаз... Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей, — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее слова, речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней. И от этой живости воссоздания муки его удесятерялись.

В сущности он не пытался анализировать свое теперешнее состояние, по-животному, неразумно отдавался охватившей его тоске, ничего ей не противопоставил, и такой, волевой, кованный, тиб, переживая утрату друга, — тиб, как дерево, исподволь сжираемое червоточинной.

Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С таким же безразличием сел на подводу, поехал.

Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава над дорогой.

Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие и близкие хутора, выселки. Сзади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. Сорок с лишним подвод, нанятых в Белой Калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно. Суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и сзади толпами шли шахтеры Белокалитвенского района. На восток уходили от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скarb.

Возле раз'езда Грачи их нагнали расстрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щаденко. Лица бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишениями. К Подтелкову подошел Щаденко. Красивое лицо его, с подстриженными по-английски усами

и тонким хрящеватым носом, было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щаденко — брови в кучу — говорил зло и устало:

— Та что ты мне говоришь? Чи я не знаю своих ребят? Плохи дела, а тут немцы, будь вони прокляты! Когда теперь соберешь?

После разговора с ним Подтелков, нахмуренный и как будто слегка растерявшийся, погнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними, Бунчук видел: Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков повеселел, прыгнул на тачанку, боковина ее хряснула, удержав на себе шестипудового батарейца; кучер — кнута лошадям, грязь — ошметками в сторону.

— Гони! — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.

XXVIII

Несколько дней экспедиция шла в глубь Донецкого округа, прорываясь к Краснокутской станице. Население хохлячьих слобод встречало отряд с неизменным радушием: с охотой продавали съестные припасы, корм для лошадей, давали приют, но едва лишь поднимался вопрос о найме лошадей до Краснокутской, — хохлы мялись, чесали затылки и отказывались наотрез.

— Хорошие деньги платим, чево ж ты нос воротишь? — допытывался Подтелков у одного из хохлов.

— Так шо ж, а мини своя жизнь ни дешевши грошив стоить.

— На што нам твоя жизнь, ты нам коней с бричкой найми.

— Ни, не можу.

— Почему не можешь?

— Та вы ж до казакив идете?

— Ну, так што же?

— Мабуть зробиться яке льхо, абось ще чо. Чи мини свой худобы не жалко? Затублють коний, шо мини тоди робыть? Ни, дядько, выдчипысь, ни пиду!

Чем ближе подвигались к Краснокутскому юрту, тем тревожней становились Подтелков и остальные. Чувствовалась известная перемена и в настроении населения: если в первых слободах встречали с радостным гостеприимством, то в последующих к экспедиции относились с явным недоброжелательством и настороженностью. Неохотно продавали продукты, увиливали от вопросов. Подводы экспедиции уже не окружала, как прежде, цветистым поясом слободская молодежь. Угрюмо, неприязненно поглядывали из окон, спешили уйти.

— Крещенные вы тут али нет? — с возмущением допытывались казаки из экспедиции. — Што вы, как сычи на крупу, на нас глядите?

А в одной из слобод Наголинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь, озираясь, кричал хрипато:

— Люди вы али черти? Што ж вы молчите, такую вашу мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видют! Довольно совестно такую мораль распущать! Теперь, товарищи, равенство, — ни казаков, ни хохлов нету, и некакова чорта лопушиться! Штоб зараз же несли курей и яиц, за все николаевскими плотим!

Человек шесть хохлов, слушавших, как разоряется Болдырев, стояли понуро, словно лошади в плугу.

На горячую речь его не откликнулись ни одним словом.

— Как были вы хохлы, так вы, растреклятые, ими и остались! Штоб вы полопались, черти, на мелкие куски! Холеры на вас нету, буржуи вислопузые! — Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную папаху, побагровел от бесконечного презрения: — Говноеды вы! У вас снегу серед зимы не выпросишь!

— Не лайся! — только и сказали ему хохлы, расходясь в разные стороны.

В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая хохлушка допытывалась:

— Чи правды, шо вы усё будитэ грабывать и уси человекон ризать? И казак, глазом не мигнув, отвечал:

— Правда. Всех-то не всех, а стариков будем резать.

— Ой, боже ж мий! Та на шо воны вам нужни?

— А мы их с кашей едим: баранина теперь травяная, несладкая, а деда подвалишь в котел — и такой из него навар получается!..

— Та то вы, мабуть, шуткуете?

— Брешет он, тетка! Дуру трепает! — вступил в разговор Мрыхин.

— И один-на-один жестоко отчитал шутника:

— Ты понимай, как шутить и с кем шутить! За такие шутки как бы тебе Подтелков ряхку не побил! Ты чево смуту разводишь? А она и в сам деле понесет, што стариков режем?

Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжираемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт Краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями:

— Нам, Иван, далеко итить не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы, зачем ворочать дела! Объявим набор, жалованья рублей по сотне кинем, но штоб шли с конями и с правой, нечево народными денежками сорить. Из Усть-Хоптра так и гребанемся вверх: через твою

Букановскую, Слашевскую, Федосеевскую, Кумылженскую, Глазуновскую, Скуришенскую. Пока до Михайловки дойдем—дивизия! Наберем?

— Набрать — наберем, коли там все мирно.

— Ты уж думаешь и там началось?

— А почему знать? — Лагутин гладил скудную бородашку, тянким жалующимся голосом ныл: — Пропозднились мы... Боюсь я, Федя, што не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы...

— И так спешим. А ты не бойсь! Нам бояться нельзя, — суровел глазами Подтелков. — Людей за собой ведем, как можно бояться? Успеем! Прорвемся! Через две недели буду бить и белых и германцев! Аж черти их возьмут, как попрем с донской земли, — и, помолчав, жадно выкурив папиросу, высказал затаенную мысль: — Опоздаем — погибли и мы и советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежли попереди нас докатится туда офицерское восстание — все!

На другой день к вечеру экспедиция вступила на земли Краснокутской станицы. Не доезжая хутора Алексеевского, Подтелков, ехавший с Лагутиным и Кривошльковым на одной из передних подвод, увидел ходивший в степи табун.

— Давай расспросим пастуха, — предложил он Лагутину.

— Идите, — поддержал Кривошльков.

Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Толока ¹⁾, выжженная солнцем, лоснилась бурой травой. Трава была низкоросла, ископчана, лишь над дорогой желтым мелкокустьем цвела сурепка да шелестел пушистыми метелками ядреный овсюк. Разминая в ладони головку престарелой полыни, вдыхая острую горечь ее запаха, Подтелков подошел к пастуху.

— Здорово живешь, отец!

— Слава богу.

— Пасешь?

— Пасу.

Старик насупясь глядел из-под кустистых седых бровей, покачивал чекушкой.

— Ну, как живете? — задал Подтелков обычный вопрос.

— Ничево, божьей помочью.

— Што новостей у вас тут?

— Ничево не слыхать. А вы што за люди?

— Служивые, домой идем.

— Откель же вы?

¹⁾ Место, отводимое под попас.

— Усть-хоперские.

— Этот самый Подтелкин не с вами?

— С нами.

Пастух, видимо испугавшись, заметно побледнел.

— Ты чево оробел, дед?

— Как же, кормильцы, гутарют, што вы всех православных режете.

— Брехня! Кто это распускает такие слухи?

— Позавчера атаман на сходе гутарил. Слухом пользовался, ни то бумагу казенную получил, што идет Подтелкин с камлыками, режут вчистую всех.

— У вас уж атаманы? — Лагутин мельком глянул на Подтелкова. Тот желтыми клыками впился в травяную былку.

— Надьсь выбрали атамана. Совет прикрыли.

Лагутин хотел еще что-то спросить, но в стороне здоровенный лысый бык прыгнул на корову, подмял ее.

— Обломит окаянный! — ахнул пастух и с неожиданной для его возраста резвостью пустился к табуну, выкрикивая на бегу: — Настенкина коровенка!.. Обломит, растуды ево мать!.. Куда!.. Куда-а-а — лысый!..

Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Хозяйственный Лагутин остановился, беспокойно глядел на тщедушную коровенку, пригнутую быком до земли, невольно думал в этот миг: «А ить обломит... сломал никак! Ах, ты, нечистый дух!»

Только убедившись в том, что коровенка вынесла из-под быка хребет свой в целости, — пошел к подводам. «Што будем делать? Неужели уж и за Доном атаманья?» — задал он себе мысленный вопрос. Но внимание его вновь на минуту отвлек стоявший над дорогой племенной красавец бугай. Он нюхал большую, широкую в оснастке черную корову, поводил лобастой головой. Подгрудок его свисал до колен, длинный корпус, могучий и плотный, был вытянут, как струна. Низкие ноги стояками врывались в мягкую землю, и, нехотя любясь породистым бугаем, лаская глазами его красную с подпалинами шерсть, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес со вздохом одну: «Нам бы в станицу такого. А то мелковаты бугайки у нас». Эта мысль зацепилась подходя, мельком, но уже подходя к тачанке, всматриваясь в невестелье лица казаков, Лагутин обдумывал маршрут, по которому придется им теперь идти.

Вытрепанный лихорадкой Кривошлыкков — мечтатель и поэт — говорил Подтелкову:

— Мы уходим от контр-революционной волны, не хотим ее опередить, а она хлбыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как прибой на низменном месте.

Из членов комиссии, казалось, только Подтелков учитывал весь ужас сложившейся обстановки. Он сидел весь клонясь вперед, ежеминутно кричал кучеру:

— Гони!

На задних подводах запели и умолкли. Оттуда, покрывая говор колес, раскатами был смех, звучали выкрики.

Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтвик, ехавший с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и кокарде. Подтелков расспросил его и еще более почернел.

Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь. Небо хмарилось. Лишь на востоке, из прорвы туч виднелся ультрамариновый, полтытый косым солнцем клочок неба.

Едва лишь с бугра стали с'езжать в тавричанский участок Рубашкин, оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчались несколько подвод.

— Бегут. Нас боятся... — растерянно проговорил Лагутин, оглядывая остальных.

Подтелков крикнул:

— Верните их! Да шумните ж им, черти!

Казачи повскакивали с подвод, замахали шапками. Кто-то зычно закричал:

— Э-гей!.. Куда вы?.. Погодите!..

Подводы экспедиции рысью с'езжали в участок. На широкой обезлюдешей улице кружился ветер. В одном из дворов старая хохлушка с криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под уздцы лошадей...

В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым, захвачен в плен казачьим раз'ездом и уведен за бугор. Казачи были, видимо, недалеко. После короткого совещания решено было итти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался. Кривошлыков молчал, его вновь вытрясал приступ лихорадки.

— Может, пойдём дальше? — спросил Подтелков у присутствовавшего на совещании Бунчука.

Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно — вперед итти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки,

заговорил о преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов.

— Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? К контр-революционерам? Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам не охота! Это што? Ты видишь? — он указал на бугор.

Все оглянулись: на небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых.

— Раз'езд ихний! — воскликнул Лагутин.

— А вон еще!

По бугру замаячили конные. Они с'езжались группами, раз'езжались, исчезали за бугром и вновь показывались.

Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало прятаться и разбегаться.

Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный цедился дождь. Люди промокли и издрогли. Шли возле подвод, держа винтовки наизготове. Дорога, огибая изволок, спустилась в ложину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи раз'езды. Они провожали экспедицию, повышая и без того нервное настроение казаков.

Возле одной из поперечных балок, пересекавших ложину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным: «Изготовься!» Сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке — задержанная плотиной — голубела вешняя вода. Ил около прудка испятнан следами подходившего к водою скота. На торбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и повитель, внизу у воды чахла осока, шуршел под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила.

— Федор, ты сейчас не жди, — зашептал Кривошльков, подозревая Подтелкова к подводе. — Сейчас они не нападут. Ночью нападут.

— Я сам так думаю.

XXIX

На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдонья, вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной и влажной сыростью, таила в складках балок грустные отоветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, лучили непередаваемый мертвенный запах тлена.

К многообразным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался шагая Подтелков. Изредка он останавливался, счищал с каблуков комья приставшей грязи, выпрямляясь тяжело и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей настезь распахнутой куртки.

В хутор Калашников, Поляков-Нагалинской волости, приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Подтелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно. Трое отказались идти.

— Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа — расстрелять! — горячился Кривошлыков.

Издерганный тревогой, Подтелков горько махнул рукой:

— Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка!..

Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры.

— Не спать, ребятки! Иначе накроют нас! — обходя хаты, убеждал Подтелков наиболее близких ему казаков.

Он всю ночь просидел за столом, свесив на руки голову, тяжело и хрипло, как больное животное, вздыхая. Перед рассветом чуть забылся сном, уронив на стол большую голову, но его сейчас же разбудил пришедший из соседнего двора Роберт Фрашенбрудер. Начали собираться к выступлению. Уже рассвело. Подтелков вышел из хаты. Хозяйка, доившая корову, повстречалась ему в сенях.

— А на бугре конные ездют, — равнодушно сказала она.

— Где?

— А вон за хутором.

Подтелков выскочил во двор: на бугре, за белым покровом тумана, висевшего над хутором и вербами левад, виднелись многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью и куцым наметом, окружая хутор, туго стягивая кольцо.

Вскоре во двор, где остановился Подтелков, к его тачанке стали стекаться казаки команды.

Пришел мигулинец Василий Мирошников — плотный чубатый казак. Он отозвал Подтелкова в сторону, потупясь, сказал:

— Вот што, товарищ Подтелков... Приезжали зараз делегаты от них, — он махнул рукой в сторону бугра, — велели передать тебе, штоб сейчас же мы сложили оружие и сдалися. Иначе они идут в наступление.

— Ты!.. Сукин сын!.. Ты што мне говоришь? — Подтелков схватил Мирошникова за отвороты шинели, швырнул его от себя и подбежал к тачанке; винтовку за ствол, хриплым огрубевшим голосом к каза-

кам: — Сдаться?.. Какие могут быть разговоры с контр-революцией? Мы с ними боремся! За мною! В цепь!..

Высыпали из двора. Кучкой побежали на край хутора. У последних дворов задыхавшегося Подтелкова догнал член комиссии Мрыхин.

— Какой позор, Подтелков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкнемся и так!

Видя, что лишь незначительная часть команды следует за ним, трезвым рассудком учитывая неизбежность поражения в случае схватки, Подтелков молча выкинул из винтовки затвор и вяло махнул фуражкой:

— Отставить, ребята! Назад — в хутор.

Вернулись. Собрались всем отрядом в трех смежных дворах. Вскоре в хуторе появились казаки. С бугра спустился отряд в сорок всадников.

Подтелков по приглашению милютинских стариков отправился за хутор договариваться об условиях сдачи. Основные силы противника, обложившего хутор, не покидали позиций. На прогоне Бунчук догнал Подтелкова, остановил его:

— Сдаемся?

— Сила солому ломит... Што?.. Ну, што сделаешь?

— Погибнуть захотел? — Бунчука всего передернуло. Высоким беззвучно-глухим голосом он закричал, не обращая внимания на стариков, сопровождавших Подтелкова: — Скажи, что оружия мы не сдадим!.. Ты нам теперь не начальник! С кем ты советовался? С чьего согласия ты идешь предавать нас? — он круто повернулся, размахивая зажатым в кулаке наганом, пошел обратно.

Вернувшись, попробовал-было убедить казаков прорваться и с боем итти к железной дороге, но большинство было настроено явно примиренчески. Одни отворачивались от Бунчука, другие враждебно заявляли:

— Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем!

— Мы им и без оружия доверимся.

— Святая Пасха, — а мы будем кровь лить?

Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинуд под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатую револьверную рукоять. Вначале он подумал-было бежать, но ему претил уход тайком, дезертирство и, мысленно махнув рукой, стал ожидать возвращения Подтелкова.

Тот вернулся часа через три. Опромяная толпа чужих казаков проникла с ним в хутор. Некоторые ехали верхом, другие вели лошадей в поводу, остальные шли пешком, напирая на Подтелкова и подесаула Спиридонова, его бывшего сослуживца по батарее, теперь возглавлявшего сборный отряд по поимке подтелковской экспедиции. Подтелков

высоко нес голову, шагал прямо и старательно, будто выпивший лишнее. Спиридонов что-то говорил ему, тонко и ехидно улыбаясь. А за ним ехал верховой казак, как знамя прижимая к груди небрежно выстружанное древко просторного белого флага.

Улица и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казакам подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех.

— Тю, однокашник! Тебя каким ветром занесло?

— Ну, здорово, здорово, Прохор!

— Слава богу.

— Чудок мы с тобой бой не учинили. А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли?

— Кум Данило! Кум! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — слышался звучный чмок поцелуя: двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один другого по плечу.

Рядом другой разговор:

— Нам и разговеться не пришлось...

— Да ить вы же большевики, какое вам разговенье?

— Ну-к, што ж, большевики — большевиками, а в бога веруем.

— Хо! Брешешь?

— Истинный бог!

— А крест носишь?

— А вот он.

И здоровый широколицый красногвардеец-казак, топыря губу, растегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой пруди позеленевший медный крест.

Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке «бунтовщика Подтелкова» изумленно переглядывались:

— А гутарили, будто вы отреклись от веры христовой.

— Вроде вы уж сатане передались...

— Слухи были, будто грабите вы церкви и попов унистожаєте.

— Брехня! — уверенно опровергал широколицый красногвардеец. — Брехню вам всучивают. Я перед тем, как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие примал.

— Ска-а-а-жи на милость! — обрадованно хлопал руками какой-то мозглявенький старичишка, вооруженный пикой с отпиленным на половину древком.

Оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боковской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице.

— Кто из отряда Подтелкова — собирайтесь на переключку! — выкрикивали они.

Подесаул Спиридонов, в защитной рубахе и защитных погонах, снял фуражку с офицерской кокардой, белевшей, как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны:

— Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню! Остальные — направо! Мы, ваши братья-фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки, будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там в совете вы получите ваше оружие сполна.

Среди казаков-красногвардейцев — глухое волнение. Выкрики из двора. Кричит казак Кумшатской станицы Коротков:

— Не сдадим!

Глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми.

Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы толпой, разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошльков в накинутой внапашку шинели затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор.

Бунчук, твердо решивший не сдавать оружия, держа винтовку наперевес, быстро подошел к Подтелкову.

— Оружия не сдадим! Слышишь ты?!

— Теперь поздно... — прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядной список.

Список этот перешел в руки Спиридонова. Он, бегло пробежав его, спросил:

— Тут сто двадцать восемь человек... Где остальные?

— Отстали дорогой.

— Ах, вон как... Ну, ладно. Прикажи, чтобы сносили оружие.

Подтелков первый отцепил наган с кобурой, передавая оружие, сказал невнятно:

— Шашка и винтовка в тачанке.

Началось разоружение. Красногвардейцы вяло сносили оружие, револьверы кидали через плетни, прятали, расходясь по дворам.

— Всех, кто не сдает оружие, будем обыскивать! — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабясь.

Часть красногвардейцев, предводительствуемая Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок, их обезоружили силой. Тревоги наделал пу-

леметчик, усакавший из хутора с пулеметным замком. Воспользовавшись суматохой, спрятались несколько человек. Но сейчас же Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать переключку, но пленные отвечали неохотно, некоторые покрикивали:

— Чево тут проверять, все тут!

— Гоните нас в Краснокутскую!

— Товарищи! Кончайте дело!

Опечатав и под усиленной охраной отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тон и обращение:

— Ряды вздвой! На ле-е-во! Правое плечо, шагом марш! Молчать!

Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо, смешали ряды и уже шли толпой.

Подтелков, под конец упрашивавший своих сдавать оружие, вероятно, еще надеялся на какой-то счастливый исход. Но как только пленных выпнали за хутор, конвоировавшие их казаки начали теснить крайних лошадьми. Бунчука, шагавшего слева, старик-казак с пламенно-рыжей бородой и почерневшей от старости серьгой в ухе, без причины ударил плетью. Конец ее располосовал Бунчуку щеку. Он повернулся, сжав кулаки, однако вторичный, еще более сильный удар заставил его шарахнуться в глубь толпы. Он невольно сделал это, подтолкнутый животным инстинктом самосохранения и, стиснутый телами густо шагавших товарищей, в первый раз после смерти Анны сморщил губы неровной усмешкой, дивясь про себя тому, как живуче и цепко в каждом желании жить.

Пленных начали избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей, свешиваясь с седел били плетями, тупиками шашек. Невольно каждый из подвергавшихся побоям норовил протиснуться в середину; поднялись давка, крик.

Высокий бравый красногвардеец из низовских крикнул, потрясая поднятыми вверх руками:

— Убивать — так убивайте сразу, вашу мать!.. Што вы измыаетесь?

— Где же ваше слово? — зазвенел Кривошлыков.

Старики притихли. На вопрос одного из пленных — «Куда вы нас гоните?» — один из конвоиров, молодой фронтовик, видимо, сочувствовавший большевикам, ответил вполголоса:

— Приказ был — на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки! Худова вам ничево не сделаем.

Пригнали на хутор Пономарев.

Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной лавчушки, пропуская по одному, спрашивал:

— Имя, фамилия? Откуда родом?

Ответы записывал в полевую замусоленную книжку.

Дошла очередь до Бунчука.

— Фамилия? — Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежятся губы того, готовя плевок, вихнул всем телом в сторону, крикнул: — Проходи, сволочь! Издохнешь и без фамилии!

Зараженный примером Бунчука не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнул через порог...

Спиридонов сам навесил замок. Приставил караул.

Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал наспех организованный военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова.

Председательствовал коренастый желтобровый есаул, уроженец Боковской станицы, Василий Попов. Он сидел за столом под завешенным рушниками зеркалом, широко разложив локти, сдвинув фуражку на плоский затылок. Масленные, добродушно-строгие глаза его испытующе ползали по лицам казаков — членов суда. Обсуждалась мера наказания.

— Что же мы с ними сделаем, господа-старики? — повторил Попов вопрос.

Наклонясь, он что-то шепнул сидевшему рядом с ним под'есаулу Сенину. Тот утвердительно, поспешно кивнул головой. У Попова зрачки сузились, стерлись в углах глаз веселые лучики, и глаза, иные, блестящие похолодевшим суровым блеском, чуть прикрылись негустыми ресницами.

— Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество?

Февралев, старик-старообрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинутый пружиной.

— Расстрелять! Всех! — он по-оглашенному затряс головой, оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: — Нету им, хриstopродавцам, милости! Жиды какие из них есть! — убить!.. Убить! Распять их!.. В огне их!..

Редкая волокнистая борода его тряслась, седые с красной подподпалиной волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый.

— На поселение отправить. Али нет?.. — нерешительно предложил один из членов суда Дьяченко.

— Пострелять!

— К смертной казни!

— Поддерживаю ихнее мнение!

— Казнить всех при народе!

— Сорную траву из поля вон!

— К смерти их!

— Расстрелять, конечно! О чем еще говорить? — возмутился Спиридонов.

С каждым выкриком углы рта есаула Попова, прубея в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие сытого, довольного собой и окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами.

— Расстрелять!.. Пиши! — приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо.

— А Подтелкова с Кривошлыковым... врагов этих — тоже расстрелять?.. Мало им! — запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна, неустанно подкручивавший фитиль угасавшей лампы.

— Их, как главарей, — повесить! — коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю: — Пиши: «Постановление. Мы, нижеподписавшиеся...»

Секретарь — тоже Попов, дальний родственник есаула, склонив белобрысую, гладко причесанную голову, заскрипел пером.

— Гасу, должно, нехватит... — вздохнул кто-то сожалеюще.

Лампа помигивала. Фитиль чадил. В тишине звенела на потолке запаутиненная муха, скребло бумагу перо, да кто-то из членов суда сапно и тяжело дышал.

СПИСОК

чинов отряда Подтелкова, приговоренных 27 апреля ст. ст. 1918 г. военно-полевым судом к смертной казни.

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
1.	Усть-Хоперской	Федор Подтелков	Повешен
2.	Еланской	Михаил Кривошлыков	»
3.	Казанской	Авраам Кокурин	Расстрелян
4.	Букановской	Иван Лагутин	»
5.	Нижегородск. г.	Алексей Ив. Орлов	»
6.	Нижегородской г.	Ефим Мих. Вахтель	»
7.	Усть-Быстрянской.	Григорий Фетисов	»
8.	Мигулинской	Гавриил Ткачев	»
9.	Мигулинской	Павел Агафонов	»
10.	Михайловской	Александр Бубнов	»

№№	Станицы	Имя и фамилия	Приговор
11.	Луганской	Калинин	Расстрелян
12.	Мигулинской	Константин Мрыхин	»
13.	Мигулинской	Андрей Коновалов	»
14.	Полтавской г.	Константин Кирста	»
15.	Котовской	Павел Позняков	»
16.	Мигулинской	Иван Болдырев	»
17.	Мигулинской	Тимофей Кольчев	»
18.	Филим.-Челб.	Дмитрий Володаров	»
19.	Чернышевской	Георгий Карпушин	»
20.	Филим.-Челб.	Илья Калмыков	»
21.	Мигулинской	Савелий Рыбников	»
22.	Мигулинской	Поликарп Гуров	»
23.	Мигулинской	Игнат Земляков	»
24.	Мигулинской	Иван Кравцов	»
25.	Ростов	Никифор Фроловский	»
26.	Ростов	Александр Коновалов	»
27.	Мигулинской	Петр Вихлянецв	»
28.	Клецкой	Иван Зотов	»
29.	Мигулинской	Евдоким Бабкин	»
30.	Михайловской.	Петр Свинцов	»
31.	Добринской	Илларион Челобитчиков	»
32.	Казанской	Клементий Дронов	»
33.	Иловлинской	Иван Авилов	»
34.	Казанской	Матвей Сакматов	»
35.	Нижне-Курмоярск.	Георгий Пупков	»
36.	Терновской	Михаил Февралев	»
37.	Херсонской г.	Чин. Вас. Пантелеймонов	»
38.	Казанской	Порфирий Любухин	»
39.	Елецкой	Дмитрий Шамов	»
40.	Филоновской	Сафон Шаронов	»
41.	Мигулинской	Иван Губарев	»
42.	Мигулинской	Федор Абакумов	»
43.	Луганской	Кузьма Горшков	»
44.	Гундоровской	Иван Изварин	»
45.	Гундоровской	Мирон Калиновцев	»
46.	Михайловской	Иван Фарафонов	»
47.	Котовской	Сергей Горбунов	»
48.	Нижне-Чирской	Петр Алаев	»
49.	Мигулинской	Прокопий Орлов	»
50.	Луганской	Никита Шеин	»
51.	Ст. механик РПТК	Александр Ясенский	»
52.	Ростов	Михаил Поляков	»
53.	Раздорской	Дмитрий Рогачев	»
54.	Ростов	Роберт Фрашенбрудер	»
55.	Ростов	Иван Силендер	»
56.	Самарской г.	Константин Ефимов	»

№№ Станицы	Имя и фамилия	Приговор
57. Чернышевской	Михаил Овчинников	Расстрелян
58. Самарской г.	Иван Пикалов	»
59. Иловлинской	Михаил Корецков	»
60. Кумшатской	Иван Коротков	»
61. Ростов	Петр Бирюков	»
62. Раздорской Н/М.	Иван Кабаков	»
63. Луковской	Тихон Молитвинов	»
64. Мигулинской	Андрей Швецов	»
65. Мигулинской	Степан Аникин	»
66. Кременской	Кузьма Дычкин	»
67. Пономарев хут.	Михаил Лукин	»
68. Баклановской	Петр Кабаков	»
69. Михайловской	Сергей Селиванов	»
70. Ростов	Артем Иванченко	»
71. Мигулинской	Николай Коновалов	»
72. Михайловской	Дмитрий Коновалов	»
73. Краснокутской	Петр Лысаков	»
74. Мигулинской	Василий Мирошников	»
75. Мигулинской	Иван Волохов	»
76. Мигулинской	Яков Гордеев	»

Трое из них не заявили о личности.

Председатель воен. отдела: В. С. Попов.

Секретарь: А. Ф. Попов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1928 года 27 апреля (10 мая) выборные от хуторов Каргиновской, Боковской, и Краснокутской станиц:

- От Василевского Максаев Степан
- » Боковского Кружилин Николай
- » Фомина Кумов Федор
- » Верхне-Яблоновского . . . Кухтин Александр
- » Нижне-Дуленского Синев Лев
- » Ильинского Волоцков Семен
- » Коньковского Попов Михаил
- » Верхне-Дуленского Родин Яков
- » Савостьянова Фролов Алекс.
- » станицы Милютинской . . Февралев Максим
- » Николаева Groшев Михаил
- » станицы Краснокутской . Еланкин Илья
- » хут. Пономарева Дьяченко Иван
- » « Евлантьева Кривов Николай
- » « Малахова Емельянов Лука
- » Ново-Земцева Коновалов Матвей
- » Попова Попов Михаил

От Астахова Щегольков Василий
 « Орлова Чекунов Гавриил
 « Климо-Федоровского . . . Чукарин Федор

Под председательством В. С. ПОПОВА

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Всех грабителей и обманщиков трудового народа, поименованных в списке ниже, всего в числе 80 человек, подвергнуть смертной казни через расстреляние, при чем для двух из них—Подтелкова и Кривошлыкова, как главарей этой партии,—смерть применить через повешение;
2. Казака хутора Михайловского Антона Калитвенцова за недостаточность улик оправдать;
3. Бежавших из отряда Подтелкова и арестованных в Краснокутской станице: Константина Мельникова, Гавриила Мельникова, Василия Мельникова, Аксенова и Вершинина подвергнуть наказанию по пункту первому сего постановления (смертная казнь);
4. Наказание привести в исполнение завтра, 28 апреля (11 мая) в 6 час. утра;
5. В караул для наблюдения за арестованными назначить подесаула Сенина, в распоряжение которого к 11 часам вечера сегодня выслать по два вооруженных винтовками казака; ответственность за неисполнение сего пункта возлагается на членов суда; наказание привести в исполнение караулу от каждого хутора: выслать на место расстрела по пять казаков.

Подлинное подписали...

Секретарь, кончив, поставил раскоряченное двоеточие, сунул перо в руки ближнему:

— Распишись!

Представитель хутора Земцова Коновалов, в парадном сюртуке серонемецкого сукна с красными лацканами на воротнике, виновато улыбаясь, слег над листом. Толстые мозолистые воронено-черные пальцы его, не сгибаясь, держали ученическую обгрызанную ручку.

— Грамотный-то я не дуже... — говорил он, старательно выводя заглавное «К».

Следом за ним расписался Родин, так же неуверенно водя ручкой, потея и хмурясь от напряжения. Еще один, предварительно потряхивая ручкой, беря разбег, расписался и убрал высунутый во время писания язык. Попов размашисто, с росчерком начертал свою фамилию, встал, вытирая влажное лицо платком.

— Список приложить надо, — позевывая, сказал он.

— Каледин на том свете спасибо нам скажет, — молодо улыбнулся Сенин, наблюдая за тем, как секретарь прижимает к выбеленной стене увлажненный чернилами лист.

На шутку что-то никто не ответил. Молчаком покинули хату.

— Господи Иусе... — выходя, вздохнул кто-то в темных сенцах.

XXX

В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в лавчущке, набитой людьми доотказу, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей.

С вечеру попросился один из красногвардейцев на-двор:

— Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!..

Он стоял в выпущенной из шаровар бязевой исподней рубашке, вспотавший, босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к за-мочной скважине, повторял:

— Отвори же, товарищ!

— Бирюк тебе товарищ, — отозвался наконец кто-то из кара-ульных.

— Отвори, братушка! — изменил обращение просивший.

Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посви-стывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цыгарку, прижался губами к скважине:

— Мочись под себя, сердяга. За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрых в царство небесное пустят...

— Всё нам!.. — отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери.

Сидели плечо к плечу. В углу Подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, прищипывая, матерно ругаясь. Покончив с день-гами, разулся, понюхал провонявшие потом портянки и, трогая плечо Кривошлькова, лежавшего рядом, заговорил:

— Ясно — нас обманули. Обманули, в господу мать!.. Обидно, Ми-хайло! Мальчонкой был, бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинткой, идешь по лесу, а он — зеленым шатром... К музге пройдешь — утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно, хучь криком кричи. И вот зараз обидно — промаху дал: вышли б с Ростова на трое суток раньше — значит не припало б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю контру!

Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошльков го-ворил:

— Чорт с ними, пускай убивают! И помирать — пока нестраш-но... «Боюсь одного я, что в мире ином — друг друга уж мы не узнаем...» Будем там с тобой, Федя, встречаться чужие один одному... Страшно!..

— Брось! — обидчиво гудел Подтелков, улаживая на плечи соседа свои большие горячие ладони: — не в этом дело...

Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его «Клинком» за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче.

Разные вязались в ту ночь разговоры — бессвязаны и обрывчатые.

Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом боли, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням... Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятную дрожь вдоль позвоночного столба, сосущую тоску при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что даровать уже ничто не в состоянии.

Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.

Говорили о семьях, о родных, о близких... Говорили о том, что хлеба хороши — грач в пшенице уже хоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воте, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно, засыпали лежа, сидя, стоя.

На заре один какой-то — то ли на яву, то ли во сне — расплакался навзрыд; страшно, как плачут взрослые грубые люди, детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:

— Замолчи, проклятый!

— Баба! — выпалом.

— Зоб вырву — за-мол-чи!..

— Слезу пустил семьянин!..

— Тут спят люди, а он... совесть потерял!

Тот, кто заплакал, хлопая носом, сморкаясь, притих.

Совсем установилась-было тишина. В разных углах светлели цыгарки, но люди молчали. Пахло мужским потом, скученностью многих здоровых тел, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.

В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.

— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.

Кашлянув, ему ответил издали молодой охотливый голос:

— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.

В лавчущке разом все зашевелилось.

По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек.

— Откуда, станишники? — спросил один.

— С Татарскова.

— Припоздали вы прошки... Поймали без вас Подтелкова.

— Где ж они? Не угнали отсюда?

— А вон... — казак махнул рукой на покатую крышу лавчушки, рассмеялся: — Сидят, как куры в курятнике.

Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе.

— Куда ж их, стало быть, направют? — поинтересовался Христоня.

— К покойникам.

— Как так?.. Што ты брешешь? — Григорий схватил казака за плечу шинели.

— Сбреши лучше, ваше благородие! — дерзко ответил казак и легонько освободился от григорьевых цепких пальцев.

— Вон, гляди: им уж рели построили, — указал он на виселицу, устроенную между двух чахлах верб.

— Разводи коней по дворам! — скомандовал Петро.

Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь. На край хутора густо валяли казаки и бабы. Население Пономарева, оповещенное о назначенной на 6 часов казни, шло охотно, как на редкое веселое зрелище. Казачки вырядились, будто на праздник; многие вели с собой детей. Толпа окружила выгон¹⁾, теснились около виселицы и длинной — до трех аршин глубиной — ямы. Ребятишки топтались по сырому суглинку насыпи, накиданной с одной стороны ямы; казаки, сходясь, оживленно обсуждали предстоящую казнь; бабы горестно шушукались.

Заспанный и серьезный пришел есаул Попов. Он курил, жевал папиросу, комкая твердые губы; казакам караульный команды хрипло приказал:

— Отгоните народ от ямы! Спиридонову передайте, чтобы вел первую партию!

Глянул на часы и отошел в сторону, наблюдая, как теснимые караульными толпы народа пятятся от места казни, окружают его слитным цветистым полукругом.

Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По пути встретился ему Петро Мелехов.

— От вашего хутора есть охотники?

1) Место за хутором, где пастух собирает скот.

— Какие охотники?

— Приводить в исполнение приговор.

— Нету и не будет! — резко ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова.

— Назначь наряд! Слышишь, ты?

Но охотники нашлись: Митька Коршунов, приглаживая ладонью выбившиеся из-под козырька прямые волосы, увалисто подошел к Петру, сказал, мерцая камышовой зеленью прижмуренных глаз:

— Я стрельну... Зачем говоришь — «нет». Я согласен, — и улыбочиво потупил глаза: — Патронов мне дай. У меня одна обойма.

Он, бледный Андрей Кашулин, с лицом, окованным сильнейшим злым напряжением, и калмыковатый Федот Бодовсков — вызвались охотниками.

По сбитой плечо к плечу огромной толпе загуляли шопот и сдержанный гул, когда от лавки тронулась первая партия приговоренных, окруженная конвоировавшими их казаками.

Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом с ним ее волочился смертно-бледный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, он так ежил плечи, как будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босыми, раздетыми до белья. У Лагутина порватые исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порватую штанину, дрожа губами. Бунчук поглядывал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые, холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, глядя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он что-то несбыточное и отрадное... Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплеывая под ноги казаков, зато у двух или трех столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводят от них глаза и отворачиваются, повстречавшись случайным взглядом. Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. Приближается белеющая платками и красно-синим разливом фуражек толпа. Исподлобья поглядывая на нее, Подтелков громко безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина:

— Ты што?

— Поседел ты за эти деньки... Ишь пейсик-то тебе как покропило.

— Небось, поседеешь, — трудно вздыхает Подтелков, вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось, поседеешь от такой приятности... Бирюк — и то в неволе седеет, а ить я — человек.

Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует:

— Стой!

И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: все больше седые и с проседью бороды. Фронтвики где-то сзади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит внятно, но глухо:

— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзей-товарищей, поддержать, которые духом слабы.

Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь...

Есаул Попов где-то сзади улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов, — он не возражает; старики несколько вразброд выкрикивают:

— Дозволяем!

— Нехай побудут!

— Отведите их от ямы!

Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелят улочку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, обципываемые сотнями жадных глаз; смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев, — Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках.

Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимает приземленный взгляд. За ним, натягивая подол рубахи на порватую штанину, гнется Лагутин, третий — тамбовец Игнат, следующий — Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший, по меньшей мере, на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Казанской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысяков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, прозлит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался назад, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел:

— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! Братушки!.. Што вы делаете?!.. Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за што же вы?..

Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков угадал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, митулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый, светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять и ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися, почерневшими губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно:

— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков... девочка есть... родимые; мои, братцы!..

Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый воротник.

— Станови его!.. — яростно закричал Спиридонов.

Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли винтовку на изготовку. Толпа ахнула и замерла... Дурным голосом визгнула какая-то баба...

Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по которой мыкался он двадцать девять лет. Поднял глаза, увидел в пятнадцати шагах сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с чолкой, упавшей из-под козырька на белый, узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил ему — Бунчуку — прямо в грудь. Еще до выстрела слух Бунчука полоснул залиvistый вскрик; он повернул голову: молодая веснучатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза.

После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попали вразвалку, стрелявшие подбежали к яме.

Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгнул, грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину:

— Глянь вот на этого чорта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком.

Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме...

После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, сшибаясь, таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. Отвратительнейшая картина уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди, — все это безмерно жуткое,

потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых.

Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники, брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил трупов в перерывы, спеша, засыпали землей.

Подтелков и Кривошльков подходили к тем, что дожидались очереди, пытались бодрить, но слова не имели бывшего значения — иное довлело в этот миг над людьми, чья жизнь минуту спустя должна была оборваться, как вызревший черенок древесного листа.

Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился:

— И ты тут, Мелехов?

Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился.

— Тут. Как видишь...

— Вижу... — вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его побелевшее лицо. — Што же, расстреливаешь братьев? Обвернулся?.. Вон ты какой... — он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх, ты!..

Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь:

— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрывывается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходилса ты, председатель московскова совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал!! Понятно? Ишо сказать?

Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория.

— Пойдем, стал-быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечево. Господи божа, што делается с людьми!..

Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал:

— Темные, вы... слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья, заставили кровных братьев убивать! Вы думаете, ежли нас побьете, так этим кончитса? Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установитса по всей России. Вот попомните мои слова! Зря кровь вы чужую льете! Глупые вы люди!

— Мы и с энтими этак управимся! — выскочил какой-то старик.

— Всех, дед, не перестреляете, — улыбнулся Подтелков. — Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову! Вспомняетесь вы после, да поздно будет!

- Ты нам не грози!
- Я не грожу. Я вам дорогу указываю.
- Ты сам, Подтелков, слепой! Москва тебе очи залепила!

Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где привязанный, чуя стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, он и Христоня наметом выехали из хутора, не оглядываясь перевалили через бугор.

А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы: вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков...

Яму набили доверху. Присыпали землей. Притоптали ногами. Двое офицеров в черных масках взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице.

Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет; он же накиннул петлю.

— Дозвольте перед смертью последнее слово сказать, — попросил Подтелков.

- Говори!
- Просим! — закричали фронтовики.

Подтелков повел рукой по поредевшей толпе:

— Смотрите, сколько мало осталось, — кто желал бы глядеть на нашу смерть. Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем... Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихова Дона покладили вы вот в эту яму.

Поднялся возрастающий говор, голос Подтелкова зазвучал невнятной. Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело его, вихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла Подтелкова тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки, упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:

— Ишо не научились вешать... Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли...

Изю рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессиленное тяжелое тело.

Кривошлыкову не дали окончить речи: табурет вылетел из-под ног, стукнулся о брошенную кем-то лопату. Сухой мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягиваясь судорогой... Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков немощно охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли, как замороженные, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтелкова.

Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слезы, да, кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.

Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладки, она тихо качалась, и, повинаясь ее ритмическому ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез.

XXXII

Мишка Кошевой и Валет только на вторую ночь вышли из Каргинской. Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги яров. Опущенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела.

Да в вышине, в небесной крепи плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в зарощенном юсокой и лещуком пруду.

Шли до зари. Выцвели уже стожары. Пара роса. Близился хутор Нижне-Яблоновский. И вот тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников шли за ними, топчя следы. Кинулись было Мишка с Валетом в сторону, но трава низка, месяц светел... Попались... Попнали их обратно. Сажень сто двигались молча. Потом выстрел... Валет, путая ногами, пошел боком, боком, как лошадь, испугавшаяся своей тени, не упал, а как-то прилег неловко, лицом в сизый куст польнка.

Минут пять шел Мишка, не чуя тела, звон колыхался в ушах, на сухом вязли ноги. Потом спросил:

— Чево ж не стреляете, сукины дети? Чево томите?

— Иди, иди. Помалкивай! — ласково сказал один из казаков. — Мужика убили, а тебя прижалели. Ты в 12-м в германскую был?

— В 12-м.

— Ишо послужить в 12-м... Парень ты молодой. Заблудился трошки, ну, да это не беда. Вылечим!

Лечил Мишку через три дня военно-полевой суд в станице Каргинской. Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу ночью выгоняли за станицу, за Песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади.

В воскресенье с утра, лишь только поставили среди площади скамью, начал сходиться народ. Забили всю площадь, полно набралось на прилавках, на сложенных у сарая пластинах, на крышах домов, лавок. Первого выпороли Александрова — сына грачевского попа. Рьяный был большевик, по делу — расстрелять бы, но отец — хороший поп, всеми уважаемый, решили на суде всыпать поповскому сыну десятка два розог. С Александрова спустили штаны, разложили голоштанного на лавке, один казак сел на ноги (руки связали под лавкой), двое с пучками таловых хворостин стали по бокам. Всыпали. Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все четыре стороны. Уж больно рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил:

— Спасибо, господа-старики!

— Носи на здоровье! — ответил кто-то.

И такой дружный гогот пошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку в сарае, заулыбались.

Всыпали и Мишке по приговору двадцать горячих. Но еще горячее боли был стыд. Вся станица — и стар и мал — смотрела. Подобрал Мишка шаровары, чуть не плача сказал поровшему его казаку:

— Непорядки!

— А чем?..

— Голова думала, а ж... отвечает. Страмота на всю жисть!

— Ничего, стыд — не дым, глаза не выест, — утешал казак и, желая сделать приятное наказанному, сказал: — А крепок ты, паренек: разка два рубанул я тебя неплохо, хотелось, чтоб крикнул ты... гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Надьсь однава секли, — обмарался, голубок. Значит, жила у нево тонка.

На другой же день, согласно приговору, отправили Мишку на фронт.

Валета через двое суток прибрали: двое яблоновских казаков, посланных хуторским атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.

— Твердая тут на отводе земля, — сказал один.

— Железо прямо-таки! Сроду ить не пахалась, захрясла от давних времен.

— Да... в хорошей земле придется парню лежать, на вышине... Ветры тут, сушь, солнце... Не скоро испортится.

Они поглядели на прижавшегося к траве Валета, встали.

— Разуем?

— А то чево ж, на нем сапоги ишо добрые.

Положили в могилу по-христиански: головой на запад, присыпали густым черноземом.

— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с краями.

— Не надо, пушай так, — вздохнул другой: — Затрубят ангелы на страшный суд — все он проворней на ноги встанет...

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой польнью, заколосился на ней овсюк, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чобором, молочаем и медвянкой. Вскоре на лошаденке приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеструтанном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе мохнатила черная вязь славянского письма:

«В годину смуты и разврата не судите, братья, брата!»

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом польнке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же, возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-польни положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом.

(Конец пятой части)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИВ. ЕВДОКИМОВ — Деревня] (отрывок из романа „Заозерье“)	3
С. МСТИСЛАВСКИЙ — Повесть о Черном Магоме	41
СТИХИ —В. Саянова, С. Щипачева, М. Пасынка	92—95
Я. ШВЕДОВ — Юр-Базар (роман)	96
МИХ. ШОЛОХОВ —Тихий Дон (роман), продолжение	144
СТИХИ —И. Сельвинского, Д. Петровского, Н. Дементьева	188—194
ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Памяти великого революционера и великого критика	195
Е. В. ОБОЛЕНСКАЯ-ТОЛСТАЯ —Моя мать и Лев Николаевич	207

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

В. СТАВСКИЙ —Марьянкины внуки (по толстовским местам)	236
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Нович, М. Светлов, Стамезкин, Б. Киреев	257—263
---	---------